

И.О. ПЕШКОВ*

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРАГА: МИФОЛОГЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Аннотация. Центроориентированность и замкнутость советского пространства превращала приграничные районы в полупустые места абсолютной готовности к конфронтации. В советской картине мира граница воспринималась как источник опасности и пространство столкновения с враждебным миром. Соседство с политическими оппонентами легитимизировало милитаризацию приграничных регионов и продлевало до бесконечности атмосферу Гражданской войны на этом участке территории. Противоречие между политической стерильностью населения и эмоциональной включенностью в защиту рубежей решалось при помощи воспроизведения конфронтационных мифологем, перформативная сила которых состояла в способности смешивать темпоральные режимы и ставить под сомнение фронтирную лояльность местного населения. Статья анализирует позднесоветские дискурсивные практики, описывающие существование вневременных антикоммунистических казачьих сообществ в Монгольской Народной Республике, Китайской Народной Республике и Забайкалье, и их влияние на современные процессы примирения в Восточной Сибири. Отталкиваясь от идей Д. Скотта и Д. Агамбена о перформативной силе государственного описания в категориях исключения, автор пытается уйти от прямолинейной мартирологии раннего социализма, показывая символические аспекты исключения и специфику политической демонологии послесталинского СССР. Теоретической основой статьи стали подходы Д. Скотта к ключевой роли государственного описания в производстве приграничного политического бандитизма и описанная Ги Дебором

*** Пешков Иван Олегович**, PhD, преподаватель, Университет им. Адама Мицкевича (Познань, Польша), e-mail: ipeshkov@amu.edu.pl

Peshkov Ivan, PhD, assistant professor, Adam Mickiewicz University (Poznan, Poland), e-mail: ipeshkov@amu.edu.pl

© Пешков И.О.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.08

потенциальная возможность захвата поля официальной идеологии и адаптации ее для собственных нужд.

Ключевые слова: Россия; забайкальские казаки; Гражданская война; память.

Для цитирования: Пешков И.О. В поисках утраченного врага: Мифологемы Гражданской войны как фактор региональной идентичности Забайкалья // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 179–202. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.08

I.O. Peshkov

**In search of the lost enemy: Mythology of the civil war
as a factor of the regional identity in Transbaikalia**

Abstract. The center orientation and closed character of the Soviet space turned borderline areas into half-empty places remaining in absolute readiness for confrontation. According to the Soviet outlook on the world borders were viewed as a source of danger and an area of confrontation with the enemies. The paper analyses late Soviet discursive practices concerning the danger of fictional Cossack communities in Mongolia, China, and Transbaikalia with their old-fashioned life style and strong anti-Soviet attitudes and their influence for modern process of reconciliation (after Civil War) in Eastern Siberia. Originating from J. Scott's and G. Agamben's ideas concerning the performative power of state description using categories of exclusion the author will attempt to avoid straightforward early-socialist martyrization to show symbolic aspects of exclusion and the specificity of political demonology of the post-Stalinist USSR. J. Scott's attitude towards the key role of state description in the development of borderline political banditry and the possibility to usurp the field of official ideology and adapt it for a group's own needs described by G.-E. Debord will constitute the theoretical basis for the paper.

Keywords: Russia; Transbaikalian Cossacks; Civil War; memory.

For citation: Peshkov I.O. In search of the lost enemy: Mythology of the civil war as a factor of the regional identity in Transbaikalia // Political science (RU). – М., 2018. – N 3. – P. 179–202. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.08

Заседание клуба краеведов в зале Государственного архива Забайкальского края 24 октября 2012 г. не предвещало беды. Были заслушаны два доклада о сельскохозяйственной выставке 1862 г. и о столетии российской авиации, но заключительная часть этой встречи не только спровоцировала новый виток споров о Гражданской войне в регионе, но и на время превратило Читу в центр споров о Гражданской войне в России. Когда краевед Г.Л. Шукин проинформировал о негативной позиции краевого совета ветеранов по отношению к инициативе Посольской Австралийской станции Забайкальского казачьего войска увековечить память атамана

на Г.М. Семенова, слово взял историк В.И. Василевский и предложил противоположную точку зрения, призывая пересмотреть стереотипы по отношению к белой государственности в Забайкалье (особенно заостряя внимание на источниковой базе, советской мифологии и юридической основе насилия как красных, так и белых) [Полуполтинных, 2012].

Именно это выступление вызвало бурю. В спор вмешались представители КПРФ, журналисты и казаки. Противоположная сторона любые попытки пересмотра отношения к Семенову воспринимала как агрессию и «попытку внести раздор в общество» и проигнорировала необычный для российского казачества призыв атамана к взвешенному подходу и к свободной дискуссии о прошлом региона. В отличие от Иркутска (с его коммерциализацией памяти об А. Колчаке) и Республики Бурятия (рассматривающей события Гражданской войны в перспективе национальной драмы¹), Чита пережила настоящий бум памяти о Гражданской войне: памяти живой, конфликтной и часто провоцирующей прямые обвинения в политическом или гражданском несоответствии. Для читателя, не связанного с регионом, в этой истории непонятно многое: уровень страстей по событиям почти столетней давности, странная роль эмиграции из Австралии в отдаленном регионе и главное – достаточно глубокий характер дискуссий, затрагивающих легитимность террора, оценку его масштаба и право региона на своих героев.

Чтобы разобраться в причинах, почему имя атамана Семенова возбуждает столько эмоций, нужно внимательно проследить эволюцию официальной и неофициальной памяти о Гражданской войне в приграничном регионе. В советской картине мира граница воспринималась как источник опасности и пространство столкновения с враждебным миром. Противоречие между политической стерильностью населения и эмоциональной включенностью в защиту рубежей решалось при помощи воспроизведения конфронтационных мифологем, перформативная сила которых состояла в способности смешивать темпоральные режимы и ставить под сомнение фронтирную лояльность местного населения. Местное население воспринималось в полукOLONиальной перспективе, как

¹ Что часто позволяет избежать перспективы конфронтации благодаря перспективе «трагической судьбы бурят» в начале XX в.

наименее заметная и сомнительная часть локального сообщества. Рассказывая о травматическом опыте экспансии советских моделей жизни, эти легенды одновременно были способом переживания культурных иерархий, страхов и полусознанной внутренней потребности в материальном существовании врага. Их приграничная локализация включала их в перспективы советской границы как пространство контакта с неведомым и враждебным. Поэтому в отличие от *классических* врагов советского человека, фронтирные *воображенные не-сообщества* [Zahra, 2010] были сообществами полуреальных существ, сотканными из противоречий советской картины мира. Грамматика и аксиология фронтирной мифологии сыграли большую роль в постсоветский период, определяя дискурсивные и эмоциональные аспекты попыток возвращения в идеальное прошлое. Более того – триумфальное возвращение «проклятых солдат»¹ антикоммунистического сопротивления в центр общественных дискуссий Польши, Украины и Литвы с новой силой поставило вопросы о легитимности антикоммунистического насилия, моральных и правовых противоречий новых агиографий и реакций массового сознания, сформированного другими словарями и историческими перспективами. При всей многослойности полемик и явном влиянии политической конъюнктуры, появление новых героев было прежде всего попыткой нового словаря, новой аксиологии политического действия и новых критериев оценки прошлого. В постсоветских странах триумфальное возвращение забытых героев рассматривается в постколониальной перспективе конфликта национального с внешним, что создает условия не только для риторики морального превосходства их последователей, но и морального шантажа оппонентов как предателей нации. В России (как и в Испании) граница между национальным и поли-

¹ Польский термин «проклятые солдаты» (*żołnierze wyklęci*) обозначает бойцов Армии Крайовой, продолжавших вооруженное сопротивление Красной армии и вооруженным силам ПНР в первые послевоенные годы. Отношение к этой группе коренным образом изменилось в последние годы, когда она с позиции неудобных героев (подчеркивались насильственные действия против мирного населения и национальных меньшинств) приобрела статус символа национально-го сопротивления и невероятную популярность у молодежи (их изображения и символы появляются на одежде и даже татуировках). Здесь символ бойцов АК, УПА и лесных братьев превращается в символ национального действия в Польше, Украине и Литве соответственно.

тическим более размыта, в связи с чем проявление общей тенденции возвращения запрещенных героев принимало маргинальные формы и встречало сопротивление общественного мнения. Похожие вопросы об аксиологии антикоммунистического насилия были заданы в совсем другой атмосфере асимметрического примирения после Гражданской войны, жестких культурных иерархий и негативного восприятия любых форм региональной автономии. Неудачные попытки символически вернуть семеновцев в Забайкалье показали не только эффективность советских мифологем, но и невозможность простой конверсии демонов в ангелов без глубокой рефлексии над практиками и дискурсами советской границы¹.

В статье рассматривается случай, когда историческая политика сталкивается не просто с эклектичными обломками прошлых мифологем и словарей. Можно предположить, что ситуация Забайкалья представляет более сложный пример – когда наследие приграничного режима в гораздо большей степени актуализирует события прошлого, чем постсоветские формы аффективного менеджмента [Oushakine, 2013]. Здесь мы имеем дело с массовыми переживаниями ретрогаллюцинаций, легитимизированными не просто как память, а как культурная реальность региона. В этой перспективе реальную память о событиях заменяет «память о памяти» в виде прошлых переживаний существования несоветской реальности, которая с трудом воспроизводится в постсоветской ситуации. Эта сложная конструкция региональных воображений об актуальности прошлого будет главным героем этой статьи. Модная в исследовании границ идея границы как события [Radu, 2010] принимает немного зловещую форму. Трагические события Гражданской войны здесь вытесняются событием приграничного режима, включающего постоянных и временных жителей региона в спираль мистерии присутствия «людей из прошлого». Не драматизируя всеисилие советской культурной политики и не преуменьшая косвенное участие советских институтов в этих поисках утраченного врага, следует заметить, что масштаб и глубина вовлеченности были во многом случайны, связаны прежде всего с применением легенды для решения локальных напряжений между местными и приезжими, со спецификой казачьей культуры, не склонной к жертвенности, а также с драматизмом границы как

¹ О границе как ритуале см.: [Peshkov, 2012].

места, где государство перестает картографировать реальность. При написании статьи использовались материалы полевых исследований, проведенных в 2013–2016 гг. во Внутренней Монголии, Монголии и Читинской области.

Насилие и примирение: Географическое измерение политической воли

Правовая оценка сторон Гражданской войны происходит в сложном культурном контексте, часто искажающем принятые государством юридические основы декоммунизации: непростое соотношение Российской Федерации с Российской империей и СССР, исчезновение государства, победившего в Гражданской войне, имперское прочтение советской истории, создающее новые противоречия и, главное, отсутствие ясных критериев примирения. Все это приводит к попыткам переписать события и предложить новые формы легитимации участников Гражданской войны. Революция видится как трагическая трансформация одной империи в другую, что приводит к неожиданному восприятию ленинской гвардии как разрушителей, а Сталина как восстановителя страны. Этот подход, решая проблему глорификации Белой гвардии при сохранении легитимности советских институтов, парадоксально усложняет оценку многих участников Гражданской войны. Идеологический конфликт становится предательством Родины, а политическая борьба с СССР после 1921 г. (особенно в период 1939–1945) – бесчеловечным преступлением. Несмотря на достаточно равнодушное отношение государства, этот контекст делает невозможным неполитическое высказывание по многим историческим темам, актуализируя события долгой Гражданской войны как элемент политической жизни современной России.

Почему атаман Семенов, подобно А. Колчаку, не превратился в героя мелодраматического фильма в стиле ретрофэнтези и в региональный туристический бренд? Почему память о нем продолжает быть живой, яркой и провоцирующей политические споры? Фигура атамана играет очень важную роль, несмотря на то что попытки общественной реабилитации и включения его имени в символическое пространство не увенчались успехом, а принесенный в Россию дискурс казачьей эмиграции не смог смягчить нега-

тивных оценок его действий. Вытесненная фигура атамана постоянно появляется в самых неожиданных местах: на почтовой марке, в конкурсе «Великие люди Забайкалья» (в 2009 г.), на сайте приаргунского погранотряда (фотография атамана размещена по соседству с текстами о героической борьбе советских пограничников с диверсантами из Маньчжурии) [Пешков, 2010].

Следует заметить, что существует как минимум несколько независимых традиций демонизации Семенова, слабо или вообще не связанных между собой. Попытка удержания политической автономии, коллаборация с японцами, слом имперской географии для панмонголистского проекта и «неудержимая казачья вольница» с точки зрения советских и постсоветских историков определяли и определяют однозначно негативную оценку атамана и его людей. Если в советской историографии доминировали кровавые подробности репрессий против коммунистов, то в постсоветский период главным обвинением является несубординация правительству Колчака, «панмонголистская авантюра» и *продажа Родины* японцам [Савченко, 2007].

Мы имеем дело с примером создания исключительного случая в историографии: сначала Семенову приписываются черты типичного атамана, потом как доказательство этого тезиса приводятся примеры обыденного опыта всех сторон Гражданской войны: политическое насилие, грабежи, арбитражные решения и несубординация. Можно предположить, что причины негативной оценки белой государственности в Забайкалье касаются прежде всего неразрешимого конфликта между разными перспективами локальности в регионе. Сама идея власти, не только не связанной с центром, но и ставящей его под сомнение, кажется безответственным авантюризмом, криминальный характер которого лишь подчеркивает невозможность его долговременного существования. Именно в этом контексте реальные и нереальные преступления атамана становятся исключением, они нелегитимны даже не в правовой, но в цивилизационной оценке. Описанные как преступники и авантюристы, Семенов и его последователи в этой перспективе чужды современному Забайкалью.

Развивающаяся благодаря Интернету индустрия воспоминаний о советском периоде также приводит к воспроизводству советских мифологем о «семеновцах» в позднем СССР и МНР. Можно говорить о негативном консенсусе, в типично советском

стиле фиксирующем внимание на фигуре атамана, несмотря на оценки его деятельности. Это создает конгломерат ретроспективных дискурсов, где рассказы о реальном опыте (сторонников и противников Семенова) смешиваются с официальными и неофициальными мифами. Многослойность взаимоисключающих историй создает эффект общественного присутствия и важности исторического явления. Голос части австралийской диаспоры в поддержку реабилитации не только усилил этот эффект, но и создал иллюзию международного измерения споров об истории региона.

Образ Семенова заметно отличается как от советского образа патологического политического бандита, так и от альтернативных версий справедливого и строгого атамана. Рожденный в селе Куранжа станицы Дурулгуевская, Григорий Семенов был типичным представителем русско-китайского фронта. Потомственный казак русско-бурятского происхождения, знающий монгольский язык и хорошо ориентирующийся в монгольских делах, Семенов с самого начала согласовывает свои планы со сложной архитектурой российско-китайской границы: эмансипации Халха-Монголии, внутримонгольским конфликтом в Барге и набирающим силу бурятским национальным движением [Семенов, 2007]. До последних дней жизни Семенов пытается разыгрывать панмонголистскую карту: пишет письма далай-ламе и поддерживает все допустимые в Маньчжоу-Го формы интеграции монголов. Даже главный рецепт своей политической карьеры он перенимает у монгольского героя Бабуджапа¹: опираясь на поддержку Японии, максимально использовать китайско-монгольские и русско-бурятские противоречия [Базаров, 2003]. Практически с самого начала мы видим двух Семеновых: один выступает на восточном политическом театре, пытаясь построить панмонголистическое государство, второй на сцене российской Гражданской войны пытается соединить безграничную атаманскую власть с парламентской системой [Василевский, 2007]. В этой перспективе судьба Семенова становится неотделима от попыток максимально использовать возможности границы.

¹ Бабуджап (1875–1917) – один из символов борьбы за объединение монгольских земель. После его гибели значительная часть его отряда перешла под командование Г.М. Семенова [Наками, 2011].

Политическую активность Семенова можно представить как попытку сопротивления трансформации российско-китайского фронта в стерильные приграничные территории советского государства¹. Судьба казаков Восточного Забайкалья напрямую связана с приграничным статусом территории. Роль режима управления границей является здесь ключевой: с одной стороны, сообщество создается вместе с границей и для ее защиты, с другой – смена приграничного режима после победы большевиков стала основным фактором уничтожения казачьего Забайкалья [Пешков, 2010]. Следует заметить, что определенные сомнения в их способности выполнять роль защитников границы появляются задолго до революции, причем со стороны как правительства, так и революционно настроенной интеллигенции. С этим были связаны и культурные факторы, и новые подходы к модернизации приграничного контроля, отсылающие к европейским биополитическим практикам того времени [Holquist, 2001].

Кроме этого, сомнения касались способности казаков азиатской России быть проводниками цивилизационной миссии, их расовой чистоты и опасной дружбы с казахами, монголами и китайцами. В эпоху позднего имперского национализма [Миллер, 2010] смешанная культура казаков [Бураева, 2005] воспринималась не только как предательство цивилизационной миссии и расовая деградация, но и как опасность перерастания сословной обособленности в попытки сепаратизма. Эти представления возродятся с новой силой во время Гражданской войны, когда стереотип управляемых японцами азиатских орд Семенова и Унгерна будет популярен у красных и белых.

После победы Красной армии казачество как социально-культурная формация было фактически ликвидировано в Забайкалье. Казакам не было места в новой этнополитической структуре советского государства [Slezkine, 2006], они подвергались двойным репрессиям в рамках расказачивания и раскулачивания, эмигранты подвергали смертельной опасности свои семьи, оставшиеся в СССР. В результате массового террора и потери статуса значительная часть казаков уходит в Монголию и Китай. Забайкальские казаки начинают переселяться в Монголию с 1918 г., после начала

¹ В этом есть определенная ирония, так как репрезентация его преступлений после его смерти станет важным инструментом этого процесса.

антиказацких репрессий. Для активной и политизированной части забайкальских казаков Монголия становится транзитной страной на юго-запад или на восток. Одновременно основная часть казаков уходит в район Трехречья в Северном Китае [Аргудяева, 2006; Зенкова, 2007], который становится местом массовой, в основном организованной миграции казаков [Мамонов, 1994]. После разгрома Квантунской армии начинается постепенное перемещение трехреченских казаков в СССР, сначала в форме принудительного вывоза в советские лагеря [Аблажей, 2007], а после смерти Сталина – полупринудительной репатриации с ограничением поселения до Северного Казахстана и Урала. Только в 1994 г. 15 семей вернулось в Забайкалье в поселок Сенькина Падь рядом с Приаргунском [Peshkov, 2014]. Следует заметить, что существовало еще одно направление эмиграции. Опасаясь репрессий, значительная часть казаков эмигрировала в США, Японию, Канаду, Австралию и на Филиппины, создавая собственные поселения и занимаясь сельским хозяйством.

В этой перспективе судьба Семенова репрезентативна для эмиграционной части сообщества – балансируя между противоречиями российско-китайского фронта, он одновременно участвовал в процессе эмансипации монголов и сохранял сильную связь с русской культурой. Можно предположить, что именно укорененность атамана в местной политической культуре давала ему многолетнюю поддержку монгольского населения, но и делала его абсолютно некоммуникативным как для белых, так и для красных. Обеими сторонами гражданского противостояния Семенов представляется не просто как мятежный атаман, но как опасный сепаратист [Курас, 2011]. После поражения белой государственности в Забайкалье Семенов становится символом антикоммунистического сопротивления и посредником между эмиграционными казачьими станицами и Квантунской армией. Стерилизация приграничных районов Забайкалья и Монголии, смертная казнь Г.М. Семенова (1946) и массовые репрессии в Трехречье (1945–1947) стали не концом, а началом новой истории символического присутствия семеновцев в Советском Забайкалье, МНР и Китае. «Власть атамана» оказывается воплощением абсолютного зла и политического садизма, абсолютно не поддающегося рациональному объяснению. Как в научной, так и популярной литературе начинается инфляция количества жертв семеновского террора и

распространяются апокалиптические описания семеновских застенков [Романов, 2013, с. 226]. Правление Семенова становится главной официальной травмой Забайкалья, все региональные места памяти подчинены коммеморации жертв семеновского правления. Одна из моих читинских респонденток, родившаяся в середине 1930-х годов, сообщила, что, по ее воспоминаниям, «семеновский террор был страшнее и унизительнее сталинского»¹.

Гости из прошлого. Семантика фронтирной легенды

После смерти Сталина рассказы об атамане и его последователях принимают характер коллективной ретрогаллюцинации о присутствии в регионе трансграничной сети антикоммунистического сопротивления, угрожающей каждому советскому человеку. Советские специалисты в МНР, солдаты Забайкальского военного округа и советского контингента в МНР, мигранты в Забайкалье из других частей СССР и даже офицеры КГБ в Улан-Баторе настолько захвачены полуофициальной легендой присутствия семеновцев, что начинают распознавать семеновцев в маргинальных группах русских старожилов Внутренней Азии, слабо или вообще не связанных с казаками мятежного атамана [Михалев, 2016]. Так, семеновцами объявляются не только потомки забайкальских казаков в СССР и эмиграции, но и местнорусские Монголии и этнически смешанное православное население приграничных китайских территорий. Следует заметить, что это распознавание, являясь, несомненно, дискриминационной практикой, все-таки было формой символического исключения, практически не поддержанной репрессивным аппаратом советского государства.

Мифы о существовании в приграничной зоне культурно близкой, но политически далекой группы, живущей рядом с «нормальными советскими людьми», часто не имели реальных оснований и решали внутренние проблемы советского общества. В декорациях семеновской легенды общественное сознание позднего СССР концептуализировало альтернативные и менее престижные модели русской культуры вне СССР и соотношение этнической и политической солидарности. Будучи в чем-то своим (представляя

¹ Неструктурированное интервью, проведенное в октябре 2013 г.

потерянную субкультуру), мифический семеновец, выступая в роли полукриминального антикоммуниста, был абсолютно чужим. Вопросы метисации, антикоммунизма и существования островов нетронутой переменами русской жизни ставились в рамках этого дискурса в идеологическом контексте абсолютного зла [Пешков, 2010]. Реальные и вымышленные преступления семеновцев (во многом конструируемые на основе вневременной легитимности социалистических институтов) представлялись как легитимная причина «перегибов» и антиказацких фобий коммунистов. В этой перспективе мы имеем дело с проекциями застывших форм угрозы, создающих социальное и пространственное местоположение человека из прошлого, выход из которого по определению невозможен. Семеновский миф не просто объединял всех против общего врага, делая врага полуреальным существом, он создавал единство внутри региональных и институциональных конфликтов: советский специалист в Монголии и Китае, прибавит, вынужденный служить на периферии Забайкалья, зэк, оставшийся на поселении в регионе, его бывший охранник, умирающий от скуки отдаленной зоны, солдаты первого и последнего года службы объединялись по отношению к «людям из прошлого», так как неразрешимый конфликт с ними перерастал или нивелировал реальные противоречия и конфликты.

Советские солдаты и специалисты в МНР допускали существование в лояльном протекторатном государстве (МНР) семеновских станиц, с их неизменившимся со времен революции стилем жизни и агрессивным неприятием советского стиля жизни. После распада СССР эту часть коллективного «опыта» легитимируют инфраструктура памяти в Интернете и историческая публицистика. Опасность в этом контексте становится отличительным признаком не только воображенного сообщества, но и воображенной территории, скрывающей врага и неотделимой от него. Приграничные районы Забайкалья, Монголии и Хулунбуира (приграничная область Внутренней Монголии) были встроены в сложную иерархию опасных территорий, отдаленных от нормального советского человека в силу географического, культурного и политического экзотизирования. Только теряя контроль над воображаемой территорией, можно увидеть и почувствовать врага везде. Сибирские деревни, метисы и буряты, настороженность по отношению к солдатам – все это создавало предчувствие выхода на чужую тер-

риторию. Пространственные эффекты фикции дают возможность представить трансграничную зону как место вечного повторения. Кроме этого неизбежность встречи с врагом создает императив нового освоения территории: драму постоянного усилия превращения территории в безопасную зону.

В этой перспективе приграничные территории представляют систему пространство-временных промежутков (*interstice*), в которых люди из прошлого могут наслаждаться старыми моделями жизни. Валентин, бывший советский инженер в Монголии, вспоминал историю, случившуюся с его другом в середине 1980-х годов: «У нас заканчивался бензин, и мы решили заехать в ближайшую деревню, по дороге встретили русскую женщину, которая сказала ехать к монголам, так как “наши не любят советских”, и, скорее всего, нам не поздоровится. Мы нарвались на семеновскую деревню и, слава богу, нам удалось уехать». Очень похожий сюжет о случайном попадании в несоветскую деревню часто встречается в воспоминаниях бывших солдат Забайкальского военного округа. Один из респондентов Максим так запомнил эту встречу (вторая половина 1980-х): «Мы шли через деревню и попросили воды у стариков в казачьей форме. Один из них согласился и пошел домой. Вышел с винтовкой и сказал: “Проваливайте, красная сволочь! Поубиваю всех!”»

Главным производителем солдатской мифологии были учебные части Забайкалья, где драматизм фронтирной легенды усиливался драматизмом солдатского фольклора. Мои респонденты называли Семенова вездесущим, показывая постоянное и всеохватывающее присутствие легенды в солдатской жизни. Солдаты распознавали семеновцев даже в русских и бурятских детях из соседних деревень. Советские офицеры использовали легенды более инструментально: фронтирная опасность должна была предостеречь солдат от самовольного покидания воинской части. Алексей, служивший на границе с Китаем в конце 1970-х годов, вспоминал: «Офицеры часто говорили нам об опасности набега перешедших границу семеновских банд на нашу ракетную часть. В этих рассказах они приезжали на конях и садистически убивали советских солдат».

Несмотря на абсурдность появления антикоммунистических партизан со стороны страны, переживающей культурную революцию, или из лояльной социалистической Монголии, мои респон-

денты не помнили, чтобы эти истории воспринимались как вымышленные.

Побочным эффектом этих практик является возникновение новых сообществ, практикующих под старыми названиями фронтирные легенды как основу собственной идентичности. Фронтирная легенда, с одной стороны, нивелирует разнообразие реальной исторической ситуации, с другой – расцвечивает стерильный мир приграничных регионов новыми культурными формами. Сводя полузапрещенное прошлое фронтирных пространств к одному понятию, процесс переописания [Scott, 2009] порождает новое разнообразие. Описание под одним именем разных исторических и географических реальностей создает не только разнообразие контекста обвинительного вопроса, но и разнообразие ответа со стороны воображаемых не-сообществ. Фронтирные легенды сами формируют реальности, только частично контролируемые аппаратом политического краеведения.

Парадоксом советского периода истории региона является захват дискурсивного поля семеновской легенды стигматизируемыми сообществами и создание компенсаторного дискурса на базе советских мифологем [Пешков, 2010]. Русские в Монголии, потомки казаков в Читинской области, потомки казаков из Трехречья в разной степени приняли участие в этом процессе. Русские в Монголии частично принимают маркер (семеновцы), не до конца понимая его суть [Михалев, 2008]. Забайкальцы создают контр-память как механизм адаптации перед травмой декаказизации: теперь уже зверства семеновцев являются мудрой (дальновидной) попыткой атамана защитить казаков перед будущими страданиями, а сами герои легенды осмысливаются через общее происхождение (многочисленные истории о дружбе предков с семьей Семенова). Описанная Ги Дебором [Debord, 1994] потенциальная возможность захвата поля официальной идеологии и адаптации ее для собственных нужд находит здесь парадоксальное воплощение. Неизбежная советизация антисоветского (практики символических форм политической конфронтации с СССР на основе советских мифологем и советской аксиологии) приводит к прямому использованию официальной легенды, немного смещая аксиологию антикоммунистического насилия [Peshkov, 2012]. Теперь уже советские места памяти, уроки истории в школе и даже советские фильмы о Гражданской войне усиливают альтернативную версию,

представляя героическое самоубийство казачьего Забайкалья. Отсутствие пространств и мест памяти, не связанных с советским символическим полем, приводит к бесконечному кругу воспроизведения советского в антисоветском. Понимание этого способа переживания прошлого требует отказа от черно-белых противопоставлений: главным мотивом популярности Семенова была обида на рассказывание красных партизан в Забайкалье, советское воспитание облегчало присвоение советских культурных моделей памяти, а транслируемые в семье элементы казачьей культуры делали невозможной позицию жертвы. Как сообщила одна из моих старших респондентов, «красные нас очень боялись, и когда мы проиграли, стали делать страшные вещи. Но ведь в случае нашей победы мы бы поступили так же».

Наиболее близки историческим фактам воспоминания переселенцев из Трехречья: находящиеся между реальностью совместной жизни с историческими последователями Семенова и общим негативным советским стереотипом семеновца, их память концентрируется на общечеловеческой драме Гражданской войны и на «мирных» аспектах жизни родителей в Маньчжурии (экономика, религия, отношения с окружением). В сущности, наперекор советскому стереотипу, казаки из Трехречья и их потомки позиционируют себя как абсолютно мирную и политически пассивную группу, которая несправедливо страдала от советских и китайских репрессий. Много лет проживая в тени негативного политического маркера, сообщество потомков казаков из Трехречья не только исключило опасные слова и имена из своего словаря, но и видит себя как полную противоположность негативной проекции. Вместо ожидаемых жестоких антикоммунистов в регион возвращаются «хранители традиций», заинтересованные только в экономическом успехе своих фермерских хозяйств и возрождении религиозной жизни в регионе.

Постсоветский занавес приграничной мистерии: Борьба за историю в приграничном музее

Можно предположить, что в кривом зеркале семеновского мифа позднесоветское приграничное сообщество увидело само себя: свой страх перед приграничными территориями, надежду на

существование политической альтернативы, тоску по революционному романтизму, объединяющему всех против общего врага. Не менее советской была и контрпамять, больше связанная с травмой декаказизации, чем с Гражданской войной, она перенесла на Семенова советские воображения о праве на насилие, о приграничной территории как пространстве невозможного (уходящих за кордон сетей казачьего сопротивления) и о праве «нашей власти» на превентивные репрессии.

С точки зрения местных жителей, процесс постепенного исчезновения семеновцев напоминал драматический момент полночи в сказке о Золушке – могущественный враг растворялся или превращался в обычных людей, связанных с регионом, отличающихся только большей религиозностью и отношением к крестьянскому труду. Вместе с врагом растворялась и воображаемая география легенды: близость русского Китая дала возможность убедиться в виртуальном характере белогвардейского гнезда [Башаров, 2010], вывод советских войск и массовая эмиграция местнорусских из Монголии закончила «семеновскую эпопею» и в этой стране. Да и забайкальские деревни меньше всего напоминали казачью Вандею. По понятным причинам альтернативное прошлое Восточного Забайкалья не имело собственных материальных репрезентаций, являясь прежде всего отражением фронтирных мифологем. Парадоксально, но именно остановка советской культурной политики делает советизацию культурного поля региона абсолютной: фантомная угроза казачьего сопротивления не могла существовать вне своеобразной темпоральности советского приграничного режима.

Исторические дилеммы жителей забайкальской провинции иллюстрирует экспозиция в краеведческом музее Приаргунска. Материалы, связанные с первой половиной XX в., размещены в порядке конфронтации на противоположных стенах. Одна стена представляет типичный для провинциальных музеев визуальный ряд, состоящий из фотографий вождей, героев защиты границы и социалистического труда. На второй размещены экспонаты, связанные с казачьим прошлым региона, прежде всего фотографии Первой мировой войны и немного фотографий местных героев семеновского движения. Визуальной кульминацией этого дуального порядка репрезентации истории региона является размещение в бинарной оппозиции портретов Сталина и Семенова. Так две ос-

новые политические альтернативы региона персонализированы в фигурах, символизирующих абсолютную волю власти. В этом контексте провинциальный музей выпадает из традиционной модели представления жертв тоталитарного государства как незащищенных мучеников безжалостной государственной машины. Российское общество размещает советское государство и сопротивление власти в разных моральных плоскостях, и попытки их соединения вызывают большие сомнения. Как в коллективных воображениях, так и в историографии существует консенсус по отношению к негативной моральной оценке всех форм вооруженной борьбы с СССР после окончания Гражданской войны, не говоря уже о коллаборации с армиями Третьего рейха или Японии во время Второй мировой войны. В случае Приаргунска политической мифологии советского государства визуально противопоставлена политическая мифология белого Забайкалья. В массовом сознании региона как Сталин, так и Семенов символизируют волю власти и безжалостное истребление оппонентов ради высшей цели. В этом контексте описанная Кэролайн Хамфри неотделимость коммунистического субъекта от лидера и отношений доминации [Humphrey, 2001, p. 32], определяет не только советские, но и несветские образы прошлого в регионе. Трагическая история региона превращается в кабинет зеркал, отражающих общий приоритет решительного действия. Воображаемое государство в обоих случаях соотносится с чрезвычайным положением: теперь уже Семенов становится отражением Сталина – будучи в состоянии предвидеть преступления коммунистов, он дальновидно и безжалостно карает будущих преступников. Следует заметить, что радикализм противопоставления имеет скромные социальные последствия. Бои за историю в приграничном регионе показывают допустимость сосуществования разных версий прошлого, при условии сохранения модели асимметрического примирения: коммунисты совершали трагические ошибки, а антикоммунисты – преступления. Семенов может противопоставляться Сталину уровнем политической воли, но не моральным правом на политические действия. В этой перспективе страх перед реабилитацией Семенова является не отказом от присутствия разного прошлого, а только невозможностью сосуществования в одной моральной плоскости советского опыта и его фантомной альтернативы.

Заключение

Исследования исторической политики анализируют нарративы, направленные на большие сообщества, главным объектом интереса становится национальное большинство и его реакция на предложенные формы официального прошлого. В этой перспективе ситуация приграничной периферии, в которой своеобразный локальный исторический опыт сочетается с опытом приграничного режима, достаточно маргинальна вследствие как малой репрезентативности, так и удаленности от культурных центров страны. Следует заметить, что, несмотря на удаленность и маргинальный характер полемики, забайкальские попытки разобраться в оценке Гражданской войны достаточно интересны с нескольких перспектив. Во-первых, мы имеем дело со случаем переживания мифологем Гражданской войны как важного фактора локальной идентичности, что резко отделяет Восточное Забайкалье от других регионов. Во-вторых, включенность региона в модель управления советской границей сделала его прошлое элементом ритуалов лояльности приграничного региона [Peshkov, 2012]. В-третьих, массовая миграция «новых забайкальцев» в советское время принесла в дискуссию о Гражданской войне культурные и расовые иерархии, не встречаемые в других регионах с травмой декаказизации.

Описанные в статье приграничные ретрогаллюцинации трудно рассматривать в категориях соответствия, так как их функция была намного шире рассказа о прошлом. Способность увидеть в стерильном приграничном регионе трансграничную Вандею создавала новые реальности: опасное место с нелояльным населением, с одной стороны, и замаскированное присутствие разрушенного советизацией казачьего региона – с другой. Трудное прошлое продолжает быть актуальным: само возрождением имени Атамана становится вызовом для общественного спокойствия и возвращению к конфронтации. В этой перспективе полный отказ от советского словаря и советских мифологем обозначает для Восточного Забайкалья полное согласие на травматический процесс превращения из важного элемента общесоветской системы приграничных регионов в относительно открытую периферийную и бедную местность возле китайской и монгольской границ. В этом контексте опыт Восточного Забайкалья заслуживает пристального вни-

мания как пример поиска локальной модели асимметрического примирения в условиях изменения приграничного режима.

Список литературы

- Аблажей Н.И.* С Востока на Восток. Российская эмиграция в Китае. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. – 300 с.
- Аргуяева Ю.В.* Русское население в Трехречье // Россия и АТР. – Владивосток, 2006. – № 4. – С. 121–134.
- Базаров Б.В.* Неизвестное из истории панмонголизма. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2003. – 67 с.
- Баширов И.П.* Русские Внутренней Монголии: Краткая характеристика группы // Азиатская Россия: Миграция, регионы и регионализм в исторической динамике / Под. ред. Б.В. Базарова. – Иркутск: Оттиск, 2010. – С. 301–307.
- Бураева О.В.* Этнокультурное взаимодействие народов Байкальского региона в XVII – начале XX в. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2005. – 212 с.
- Василевский В.И.* Забайкальское казачье войско в годы революции и Гражданской войны. – Чита: Ред.-изд. центр пресс-службы Управления судебного департамента Чит. обл., 2007. – 172 с.
- Зенкова Т.М.* К вопросу о традиционной культуре Трехречья // Ученые записки «Кузнецовские чтения». – Чита: Поиск, 2007. – Вып. 1. – С. 11–13.
- Курас Л.В.* Атаман Г.М. Семенов и барон Р.Ф. Унгерн в монгольской революции 1921 г. // Вестник Бурятского Госуниверситета. – Улан-Удэ, 2011. – № 8 – С. 167–172.
- Мамонов В.Ф.* Гибель русской Вандеи: Казачество Востока России в революции и Гражданской войне. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т: Рос. акад. наук. Урал. отделение. Ин-т истории и археологии, 1994. – 175 с.
- Михалев А.В.* «Русский квартал» Улан-батора: Коллективная память и классификационные практики // Вестник Евразии. – М., 2008. – № 2 – С. 6–28.
- Михалев А.В.* Создавая врага: Словарь семеновщины в Монгольской Народной Республике. – 2016. – [из архива автора].
- Наками Т.* Бабуджап и его блуждающая армия: Декларация независимости. Первая мировая война и гражданская война во Внутренней Азии. – 2011. – [из архива автора].
- Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 248 с.
- Пешков И.О.* Граница на замке постсоветской памяти. Мифологизация фронтирных сообществ на примере русских из Трехречья // Миграции и диаспоры в социокультурном, политическом и экономическом пространстве Сибири. Рубежи XIX–XX и XX–XXI веков / Под. ред. В. Дятлова. – Иркутск: Оттиск, 2010. – С. 601–616.

- Полуполтинных А.* Клуб краеведов отказался собрать круглый стол по атаману Семенову. – Чита, 2012. – Режим доступа: <https://str-albatros.livejournal.com/130459.html>. (Дата посещения 25.04.2018.)
- Романов А.М.* Особый Маньчжурский отряд атамана Семенова. – Иркутск: Оттиск, 2013. – 308 с.
- Савченко С.Н.* Дальневосточный казачий сепаратизм в годы Гражданской войны (1918–1920) // Россия и АТР. – Владивосток, 2007. – № 4. – С. 25–40.
- Семенов Г.М.* О себе. Воспоминания, мысли и выводы. 1904–1921. – М.: Центрполиграф, 2007. – 304 с.
- Debord G.* The society of the spectacle. – N.Y.: Zone book, 1994. – 154 p.
- Holquist P.* To count, to extract, and to exterminate: Population statistics and population politics in late imperial and Soviet Russia // A state of nations: Empire and nation-making in the age of Lenin and Stalin / R.G. Suny, T. Martin T. (eds). – N.Y.: Oxford univ. press, 2001. – P. 111–144.
- Humphrey C.* Stalin and the Blue Elephant: Paranoia and complicity in postcommunist metahistories // Diogenes. – Paris, 2001. – N 194. – P. 26–34.
- Oushakine S.A.* 013. Remembering in public: On the affective management of history // Ab imperio. – Казань, 2013. – N 1. – P. 269–302.
- Peshkov I.* Politization of quasi-indigenusness on the russo-chinese frontier // Frontier encounters: Knowledge and practices at the Russian, Chinese and Mongolian border / F. Bille, G. Delaplace, C. Humphrey (eds). – Cambridge: Open book publisher, 2012. – P. 165–183.
- Peshkov I.* Usable past for a Transbaikalian borderline town. «Disarmament» of memory and geographical imagination in Priargunsk // Inner Asia. – Cambridge, 2014. – N 16. – P. 95–115.
- Radu C.* Beyond border-‘dwelling’: Temporalizing the border-space through events // Anthropological theory. – L., 2010. – N 10. – P. 409–433.
- Scott J.* The art of not being governed: an anarchist history of upland Southeast Asia. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – 464 p.
- Slezkine Y.* The Soviet Union as a communal apartment. Or how a socialist state promoted ethnic particularism // Stalinism. New directions / Ed. by S. Fitzpatrick. – L.; N.Y.: Routledge, 2006. – P. 313–347.
- Zahra T.* Imagined non-communities: national indifference as a category of analysis // Slavic review. – Urbana, 2010. – N 69. – P. 93–119.